



## ТРЕВОЖНЫЙ ГОРОД

Анна. Петроград. Сентябрь 1917 года

— Чем жертвовать будем?

Странная хозяйка, спросив день, месяц, год и даже час ее рождения, проводит несколько линий на заранее расчерченных листах тонкой папиросной бумаги. И, едва взглянув на расчерченное, вопрошает:

— Жертвовать чем будем?

Она знает, что должна родить сына.

Всегда знала. С тех пор как не стало ее отца. С таким же именем, с такими же глазами, с таким же голосом. С таким же, как вокруг отца, пространством, в котором, и только в котором, ей всегда удивительно хорошо. Даже не хорошо, а единственно возможно. С пространством, в котором — и только в котором! — она может жить. После смерти отца она жить как прежде — летая — не может. И знает, что должна вернуть это пространство на землю. В собственном сыне вернуть.

\* \* \*

Осень. Обреченная на зиму осень... Не благодать лета, но и не стужа зимы.

Умерший от полученных на японской войне ранений отец учил ее когда-то несложным иероглифам. Виточек к виточку — рождается смысл. Из простых иероглифов складываются сложные.

«Рис на корню» и «огонь» складывается в иероглиф «осень».

«Осень» и «сердце» складываются в иероглиф «тоска».

Осень на сердце — тоска.

Осень. И ветер. Пронзительный, не ласкающий, а простегивающий насквозь ветер заполняет всё пространство, оставшееся между небом и землей.

И хруст листвы под ногами. Тревожащий, дрожью отдающийся внутри живота хруст.

Откуда эта тревога, что разливается внутри?

От новой жизни, что живет в ней?

От иной внешне новой жизни, которая вытесняет, выдавливает, выталкивает ее из прежнего, может, и не отчаянно счастливого, как мечталось в юности, но вполне привычного и дорого ей бытия?

Гулко...

Гулко...

Отчего так гулко? Словно она сама внутри большого колокола. В колокол тот ударили, и всё пространство гудит внутри. А она в сердцевине.

Гул пронизывает насквозь, и множится, множится, в голове ее множится. И уже она сама становится тем языком, что, раскачиваясь в брюхе колокола, разбиваясь своими боками о его бока, выбивает новый гул.

Гул... Только разбитые от ударов бока болят, да голова кружится в предощущении следующего удара. Так в детстве в ближнем имении, когда с деревенскими ребятами летала на веревке, привязанной к высокой ветке, не зная, куда этот полет занесет. Вышвырнет в речку? Ударит о нависший над речкой утес?

Гул... Она становится движением, а тяжелые литые края колокола всё близятся, близятся... Еще миг, и болью своего удара она вызовет новый гул, а сама отлетит обратно, чтобы с ударом о другую крайность этого ограниченного бытия вернуться и начать всё сначала.

И лица... Лица... Совсем иные лица. Не те, которые она привыкла видеть в городе прежде. Или просто она не в свою часть города забрела?

Город. Совсем чужой город.

Несколько кварталов по набережной Мойки в сторону от ее привычных дорог, а уже будто чужой город. Или теперь весь город чужой? И весь мир чужой?

Здесь где-то недалеко, говорят, живет Блок. Как он может тут жить? Здесь же можно сойти с ума. Если всё это видеть каждый день, непременно можно сойти с ума.

Как он может здесь жить? И как она может сюда идти?

Одна. Беременная. Почти в темноте — фонарей теперь не зажигают...

Сумерки сгущаются всё быстрее. Под ногами ничего почти не видно. Убрала в опавшую листву собачьи нечистоты, поморщилась, настолько явно ощущение — будто не сапожком, а босой ногой наступила. Горничной Марфуше придется вечером отмывать эту гадость с ее обуви. Да и самой теперь не избавиться от ощущения нечистоты, что скрыта под хрустящей сверху, багряной и торжественной опавшей листвой...

Отчего горничные перестали за хозяйскими собаками убирать? Горы опавших листьев, а под ними... Отчего это дворники перестали мести улицы? Их дворник Карп стал бегать на митинги, отчего и перед их парадной теперь не чисто. И он не один такой. Убирать некому. Все митингуют. Или громят. Или прячутся, чтоб не разгромили.

Кто сказал, что если революция, то в городе можно не убирать?

Шумно... Шумно... Почему в городе стало так шумно? Всё бурлит, кишит. То бегут, то стреляют. Отчего теперь все стреляют? И отчего теперь все простоволосые с криками бегут по улицам, по которым прежде чинно прогуливались пешком?

В пору первой революции ей было четырнадцать. Кинулась к окну, но на их Большой Морской никакой революции видно не было. Хотела на улицу бежать, «революцию смотреть», но вышедшая из кабинета мать осадила:

— Революция — не повод выходить из дома без шляпки!

Пришлось возвращаться за шляпкой, а пока шляпку подобрала, революция далеко от их дома укатилась, только дальние раскаты слышались еще где-то за Николаевским собором.

Многие запреты матери она нарушала и нарушает, а тот, насчет шляпки — никогда!

Теперь на ней шляпка от Дюве, хотя в той части города, и в это время суток, и в этой странной новой жизни более к месту была бы дешевая полушалка, как

у Марфуши. Или красная косынка, как у революционерок. Или у них нынче принято и вовсе ходить с непокрытой головой, как та рыжая наглая бестия, хохот которой разносится теперь на всю притихшую улицу?

Рыжая, в принятой в их среде грубой куртке из кожи быка, едет на авто, что с рыком вывернуло из-за угла — она еле успела отскочить, чтобы не попасть под колеса этой революции. Иные революционерки выглядят как нечто бесполое — папираса без мундштука, стрижка, кожанка, оружие. Но Рыжая вполне женщина. Длинные, отливающие не медью, а ржавчиной волосы, как знамя, полощутся на ветру. Из распахнутой кожанки выпирают округлости — бог мой, она не только шляпки, но и корсета не носит!

Патлатый революционер, что с Рыжей в авто, ухватился за одну из округлостей фурии и не отпускает. У всех на виду держится за женскую грудь, как за ручку в конке, а другой притянул Рыжую к себе. И целует ее бесстыдно и страстно. Так и в темноте супружеской спальни не целуют, а уж на улице!

Патлатый в такой же, как Рыжая, тужурке из дурно пахнущей кожи. Его невымытые длинные волосы падают на лоб, мешают целоваться. Патлатый то пятерней, то резким взмахом головы откидывает мешающие ему пряди с лица.

Движения словно метрономом вошли у него в размеренную привычку. На раз-и-два-и — отбрасывает падающие на лоб пряди рукой, на три-и-четыре-и приникает своими обветренными губами к губам Рыжей. На раз-и-два-и — взмах головой, даже если прядь упасть еще не успела, всё равно взмах, на три-и-четыре-и — снова к губам. И так до бесконечности.

Рыжая вызывающе хохочет.

— Подстрелить его! Подстрелить!

Куда они едут? Арестовывать? Расстрелять? На митинге голосить? Матросов на погром поднимать? Или просто длиноволосый везет Рыжую в постель? Для нынешних, говорят, все это развлечения одного рода. Арестуют кого-то, наганами станут водить у несчастного человека перед носом, или между ног, возбуждаясь уже не от собственной похоти, а от чужого страха. Поводят-поводят, потом полуживого от-

8                   пустят, или не отпустят, таким всё едино, и поедут

совокупляться. На благо революции. Или прямо в застенке, где расстреливали, совокупляться начнут.

И всё это и есть революция?!

Рыжая. Патлатая. Бесстыжая. С обветренными губами и наганом между ног.

Революция, от которой нужно бежать? Из родного города бежать. Мать и муж приняли решение всем ехать в Крым, чтобы в материнском крымском имении переждать смуту. Долее оставаться в волнуемом городе нельзя, а с маленькими девочками и с ней, беременной, и вовсе опасно. А она так хотела, чтобы сын ее родился здесь, в городе ее отца.

Они едут завтра. Вещи уже сложены. Девочки мучительно выбирают, какие из игрушек можно взять. Муж столь же мучительно отбирает книги и предметы для своего научного труда. Саввинка, пятнадцатилетний племянник мужа, рано оставшийся без родителей и живущий в их семье юноша не от мира сего, всё чертит что-то пером и карандашом в своих альбомах, бормочет, как водится, наизусть, целые страницы, и третий сундук уже своими альбомами и книгами забил...

Они едут завтра. А сегодня, дочитав девочкам сказку, она выскользнула из дома и одна в сумерках идет в эту глухую часть Коломны. К прорицательнице. Про ребенка узнать.

Всю свою третью беременность вышагивает по городу, вгоняя всё ожидание в заданный чужими стихами ритм.

Ей двадцать шесть.

Она — Анна.

\* \* \*

— Ждите!

Открыв лишь с третьего звонка дверь, на которой побрякивает китайский колокольчик, и даже не предложив снять шляпку, прорицательница отводит Анну в странного вида комнату.

— Позову. Занята.

И уходит вглубь квартиры.

Всё не так, как представлялось.

Никакой небесной мантии на той, которая допущена в тайны судьбы.

Ни тебе мантии, как у звездочетов древности, ни лиловых одежд нынешних любительниц спиритических новшеств, которыми какой уж сезон полон тревожный Петербург. Разве что вся в черном.

Прежде Анна в сознательном возрасте не поддавалась ни на одно из мистических увлечений — хватало отроческой глупости, от которой еле оправилась. Столоверчение, явление духов, любовная и политическая магия, привороты на соли и заклятия на крови, вся та фантазмагория, что творилась вокруг трона, пока не убили Распутина, и, говорят, творится теперь.

И слухи... Слухи. Что в Петрограде колдуют теперь все! И как колдуют!

И эта прорицательница — одна из самых! Которую по страшному секрету друг другу передают. И с придыханием о ее таинствах друг другу рассказывают.

Но никаких звездных карт на стенах.

Пропахшая кошками нечистая квартира на окраине Коломны. Две почти беспёрые блеклые канарейки, сообщившие о своем присутствии не пением, а шелестом крыльев, который, к ужасу Анны, вдруг раздается в полной тишине.

Мисочки с остатками засохшей рыбы и мутноватой воды в углу комнаты. При запахе рыбы тошнота подкатывает к горлу, ребенок внутри недовольно ворочается. По овалу миски на воде видны пылинки и ворсинки, насыпавшиеся в поилку несчастных тварей с плащей, шерстяных юбок и брюк посетителей этого странного места, сменявших один другого.

Или с кожаных тужурок?

Окно, на котором теперь сидит белесая канарейка, выходит на освещенную лишь тусклыми окнами ближних домов улицу. Анна подходила к дому по набережной с другой стороны и не видела то, что замечает теперь из окна. На улице возле парадной стоит то самое авто, что чуть не сбило ее несколько минут назад. Рыжей бестии не видно, патлатый революционер нервно курит папиросу, ждет.

В дальней комнате, куда ушла прорицательница, кроме ее голоса слышен еще один, женский, будто надтреснутый. Уже не за пророчеством звезд ли революционерка пожаловать изволила?

Ждать приходится долго. Слов не разобрать. Наконец голоса в дальней комнате стихают. С легким звоном китайского колокольчика хлопает входная дверь. Еще минута, и из окна видно, как Рыжая выбегает из парадного. Что-то говорит патлатому спутнику. Он, привычно откинув со лба прядь волос, рывком усаживает Рыжую на сиденье и толкает в спину сидящего за рулем авто возницу в военной форме без погон — двигай!

Не порадовала астрология революцию.

Порадует ли ее?

— Чем жертвовать будем?

— Что?

Странная хозяйка, спросив день, месяц, год и даже час ее рождения, проводит несколько линий на заранее расчерченных листах тонкой папиросной бумаги.

И, едва взглянув на расчерченное, вопрошает:

— Жертвовать чем будем?

Черная кофта под самое горло. Черная юбка прямого, без излишеств покроя, но с излишне смелым разрезом. Когда хозяйка запрыгивает на высокий, придвинутый к книжным шкафам табурет, становится понятно, что смелый разрез не мужчин соблазнять, а легко взлететь на табурет в поисках нужного тома астрологических атласов.

Не знай Анна, куда пришла, сочла бы дом этот за дешевый притон, а хозяйку за почитательницу морфина или что там ныне принято употреблять. Не похожа на посвященную эта прорицательница. Разве что глаза. У обычных женщин таких глаз не бывает. На земле с такими глазами не прожить.

Хозяйка третий раз повторяет:

— Чем жертвовать будем?

Шелест крыльев безмолвных белесых птиц пугает сильнее, чем жутковатый вопрос.

Взгляд у хозяйки такой, что соврать не получается.

Губы не шевелятся.

— Жертвовать?! — не понимает Анна. Пришла вроде бы не за этим. — Чем угодно. Кроме... — еле слышный шелест ее губ как крыльев канареек.



— ...Сына. Сына жаждешь. Льва, — за нее произносит хозяйка.

— Откуда вы... — начинает Анна. И замолкает, чувствуя, что еще миг и от запаха этой рыбы в миске на полу, и от напряжения, и от страха проникновения в тайну судеб, и от испуга, что эта странная женщина так, одним словом, разгадывает ее тайну, она потеряет сознание.

— Ахматовка. Не отрицай, ахматовка, — продолжает хозяйка. — Когда звонила, представилась — Анна Львовна. В сумочке «Подорожник». Ходишь и ворожишь: *«Имя ребенка — Лев, имя матери — Анна. В имени ребенка — гнев. В имени матери — рана...»*

— Откуда вы... — еще раз начинает Анна и замолкает.

Смотрит на женщину, как смотрят в лицо Медузе горгоне. Как смотрят в бездну, падение в которую уже началось...

— Дочь в тебе. Дочку родишь. Дочку. — Не предсказывает — распоряжается судьбами астрологиня.

— Сына хочу. Я должна родить этого сына.

— Тебе о сыне молить нельзя! Твой сын за бездной.

Бездной... Бездна... Без дна...

Бездна, которая засасывает все ее ощущение мира и счастья, или если и не счастья, то хотя бы покоя.

— За бездной. Чтобы его из-за той бездны достать, мир должен рухнуть.

— Пусть рухнет... — в полуобмороке бормочет Анна.

— Мир должен рухнуть. Спроси... у отца спроси... на что разменял он свою душу, когда ему было восемнадцать.

И спрашивать нечего! На что мог разменять свою душу добрейший Дмитрий Дмитриевич в его восемнадцать, когда было это еще до ее рождения, в прошлом веке!

— Впрочем, ты пока не можешь спросить... Пока не можешь.

Странная эта предсказательница... Быть может, зря Анна к ней пришла...

— Сын будет стоять жизни его отцу.

Облик мужа, милого доброго мужа мелькает перед глазами. И исчезает.

— Пусть! — в состоянии почти транс вторит

Мелькнувший в исчезающем сознании облик мужа кажется чем-то далеким, чем-то бесконечно, несопоставимо менее важным, чем сама надежда на сына. Господь простит. Или не простит?

Голос из той бездны, в которую как в старательно взбитую глубокую перину уже погружается Анна. Еще мгновение, и дверь в эту бездну захлопнется.

— Думай. Ты теперь в скрещении Урана и Плутона. Тебя сейчас видно там, где вершатся судьбы. Можешь просить. Разрешат сына тебе отдать. После бездны.

— Пусть после бездны. Сына хочу. Сына...

## БОГИНЯ УТРЕННЕЙ ЗАРИ

Анна. Крым. Октябрь 1917 года

Но ее сыну не суждено родиться ни в Питере, ни в Крыму. Родив в октябре третью девочку, Анна вспомнит о словах прорицательницы, что ее сын за бездной.

Но всё это будет месяцем позже, а пока...

\* \* \*

Из Петрограда в Крым едут поездом.

Из питерской осени в бархатное южное бабье лето.

Едут, как водится, первым классом. Но не целый вагон из восьми купе, как привыкла ездить мать: купе — ее спальня, купе — для Анны с мужем, купе — для Оли с гувернанткой, купе — для Маши с нянькой, купе — гостиная, купе — столовая, купе — для багажа и одежды, купе — для прислуги. И это если повара, служанки и прочая челядь из питерского дома, без которой и в приморском имении не обойтись, уехали прежде них...

В этот раз без поваров. Скромно. Собирались в последний момент, не досталось билетов, и у них всего-то три купе на семь человек.

Едут долго. Много дольше обычных трех дней.

Днями простаивают на станциях с толпами измученных голодных солдат, беженцев и дезертиров на

перронах. Но первые дни смотрели на них только из окна и сетовали, что чай нынче не так хорош, как прежде. А теперь...

— Двигайтесь, дамочка! Двигайтесь! Швыдче! Уплотнитесь!

На третий день пути в их вагон первого класса набивается толпа — солдатня, матросы, мужики, оборванцы.

Один из них с бульдожьим лицом, муж по форме определил, что фельдфебель, теперь выгоняет гувернантку и девочек из их купе. Разбуженные Оля и Маша в тонких кружевных сорочках напуганы, жмутся к гувернантке.

— Как вы смеее?! — негодует мать, крепче прижимая к себе игрушечного зайца Маши. — Это наши законные места! Согласно купленным билетам!

Найти в этой давке начальника поезда, тем более требовать соблюдения их прав бесполезно. Даже мать, на удивление, это понимает.

— У нас, барыня, согласно купленным билетам, пол в вагоне рухнул! — Мужик небритый, беззубый, потом от него за версту несет, с мешком за плечами. — До дому ехать всем надобно!

— В третьем классе столько народу набилось, что пол не выдержал, провалился! — суетливо поясняет проводник. Чудо, что он еще не сбежал.

Проводник почти на ухо матери шепчет, уговаривает потерпеть, не злить ворвавшихся:

— В соседнем вагоне первого класса пристрелили пассажира с одиннадцатого места, который не пускал их в свое купе.

Бульдожьего вида фельдфебель своими грязными штанами плюхается на полку, где постелено кружевное белье для Маши, мать едва успевает игрушки девочек из-под его зада выхватить и велеть гувернантке вещи быстро в ее купе переносить.

Мать напряжена — кроме собственных ценностей она везет спрятанные в детских игрушках ценности вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая с марта в Крыму и мало что с собой из Петрограда увезти

Солдаты без погон с винтовками занимают второе их купе — не успевший выйти Савва со своими альбомами и тетрадками остается, зажатый в угол завшивевшими, давно не мывшимися, озлобленными и уставшими людьми.

— Двигайся, гимназия! Учиться будешь опосля! Теперь всем ехать треба!

И из третьего купе их сейчас выгонят — пенсне мужа и шляпки матери, без которых княгиня Истомина считает неприличным появляться на людях даже в вагоне поезда, даже в такие времена, — теперь не лучшие аргументы в их пользу. Кому из штурмующих не хватило места в первых двух купе, занятых самозахватом, уже дергают дверь третьего, последнего оставшегося у них, в котором им, шестерым, уже тесно.

Беззубый мужик с мешком за плечами рывком открывает дверь и застывает на пороге. Смотрит на живот Анны, который вопреки нормам приличия уже ни от каких посторонних глаз не укрыть. И взмахом руки останавливает тех, кто напирает на него сзади.

— Назад! Ша! Баба на сносях туточки, вот-вот рóдит!

И закрывает дверь.

Толпа двигается дальше, штурмовать другие купе и вагоны. А мать сидит бледная, не может выпустить игрушечного медвежонка из рук.

— Не так страшно свое потерять, как чудовищно неприлично потерять императорское, — трагически шепчет мать, теребя плюшевое ухо.

Муж подносит ко рту и убирает обратно нераскуренную папиросу, которую в общем купе с девочками теперь не закурить, и говорит что-то об удивительной несочетаемости кадетских взглядов матери и ее монархического трепета. Мать не отвечает.

Дальше от столиц, ближе к югу солдат и беженцев становится меньше — сходят станция за станцией, и им даже удастся вернуть одно из своих купе, только отправляют Савву в уборную «после такого общества как следует мыться и в чистое одеться, а ту одежду выбросить — на нее вши могли перейти».

Но нет больше на станциях прилично одетых крестьян, торгующих едой для пассажиров. А цены на всё, что пока еще продается, ошеломляют даже не скупую и богатую мать.

— Десять рублей за сметану для девочек?! Прошлым летом за такие деньги двух коров в ближнем имении продавали.

Мать, при всей ее светскости и упоенном увлечении политикой, знает цены на коров. Что никак не вяжется с ее внешностью. Но всё это совершенно не интересует Анну.

Ничто в это мгновение не омрачает невесту откуда поселившуюся в Анне радость предчувствия — ни мрачное предсказание прорицательницы, случившееся в ее последний питерский вечер, ни странная дорога через взбаламученную страну, где теперь всё слоями — то мятеж, то покой.

Страх и спокойствие накатывают волнами. То каждая мелочь радует — вкус чудом купленного на станции молока, солнечный отблеск в волосах Машеньки, странные рисунки Саввы, который и в поезде не расстается со своими альбомами и блокнотами. То кажется, им вовек не доехать до приморского имения матери — за окнами поезда разоренные села, неубранные поля, запустение.

Мать с мужем спорят, сколько теперь стране преодолевать столь разрушительные последствия. Мать считает — два года. Муж уверен, вернутся на прежний уровень не ранее 1921-го.

— Три года война. Три года на восстановление — и это только при условии, что смута закончится теперь. Год про запас.

То вдруг снова картинка меняется, и, разглядывая из окна благостные виды юга, впитывающего свое последнее солнце, в осеннем туманном покое Анна поверить не может, что часом ранее они о чем-то тревожились.

О чем можно тревожиться, когда с каждым часом приближается благословенный Крым — вечная сказка ее детства!

*Я, девочкой, не ведавшей обид, / всего, что будет контурным наброском, / не в сказочном саду Семирамид / искала свой приют — в тиши форосской. / Я странницей на поиски друзей / отправлена, забыла наставленья, / что мир стабилен, а его смеценья / поддерживает равенство ничьей...*

В оставленном ими Петрограде «равенство ничьей» нарушилось. Мир сошел с ума. И теперь, только отперев старый ларчик ее детского мироощущения, мож-

но вернуть покой и в собственную душу, и во весь большой растревоженный мир.

Поезд минует Джанкой, и, рискуя подхватить на сквозняках совершенно излишнюю в ее положении простуду, Анна опускает вагонное окно.

Мама и муж нудно судят о шансах социал-демократов и кадетов в нынешнем правительстве, а она, по-детски выставив в окно руку (пока не видят спящие после обеда дочки, которым она как примерная мама категорически запрещает высываться из окна), ловит ощущение ветра в ладонь.

И дышит, дышит, дышит.

Впитывает в себя этот ни с чем не сравнимый воздух.

Ребенок в животе шевелится активнее обычного. Тоже чувствует этот воздух.

Так пахнет ее детство. А больше ничто.

Управляющий южным имением Франц Карлович с шофером Никодимом встречает их на станции на большом авто марки «Делоне Бельвиль».

И сразу отчет матери:

— Урожай с двух десятин маслиновой рощи в этот год пятьдесят пудов, хватит для трех пудов масла, сена накошено лишь шестьсот пудов, на двести меньше, чем обычно, но почти столько же, сколько в последние два года — мужики на фронте, рук не хватает.

Скучные хозяйственные подробности Анна не слушает. Машу укачало, спит на руках у гувернантки, да и Олюшка дремлет. А она сама как в первый раз с наслаждением разглядывает по дороге всё вокруг.

Здесь наверху перед перевалом всё больше татарские селения с мечетями, призыв муллы звучит сквозь нагретый солнцем на открытом плато воздух. Христианских церквей и русских деревень меньше.

Почти все, кто работает здесь на полях, внуки бывших крепостных материной бабки, старой княгини Истоминой. Дабы сохранить линию княжеского рода, даже выйдя замуж, мать от бабкиной фамилии не отказалась, взяла двойную, а после смерти мужа его часть фамилии как-то незаметно потерялась. Так и есть она для всех «княгиня

Истомина», их «ближнее» к столице имение Истомино, и всё здесь вокруг истоминское.

По пути со станции мать всегда останавливается в одном из селений — то в Кизиловом, то в Орлином, то в Подгорном. На этот раз в селении Верхнем. И девочек непременно велит разбудить и вывести из авто — «на настоящую жизнь посмотреть».

Останавливаются возле покоса. Крестьянине в чистенькой одежде — бабы, мужики, подростки — все косят. Дети, не старше Олюшки, снопы вязать помогают.

— Что, Семён, как урожай?

Мать мужиков по именам знает.

— В этом году получше, чем в прошлом, барыня! — отвечает хромающий мужик, снимая фуражку и пятерней зачесывая свой чуб. — Но братку мово на фронт той весной забрали. Мне за корявой ноги амнистя вышла, а братку забрали! Рук не хватат.

Жена Семёна, которую мать называет Настёной, в светлом платке, из-под которого тяжелые пшеничные косы выбиваются, кланяясь подносит молока. Дешевые красные бусы на шее горят на солнце.

— Парное. Толечки отдоилась, — она кивает в сторону коровы, которая вместе с теленком пасется неподалеку.

Мать, которая обычно ест и пьет только из хрустала и серебра, принимает глиняный кувшин из рук крестьянки и, к изумлению Анны, с удовольствием пьет молоко.

— Сын, смотрю, уже до помощника дорос? Игнат он у тебя, так ведь?

Мать и сына мужицкого знает.

— Игнатий, барыня София Еоргивна! Игнатий, средний будет. Маруська старшяа, младшие Ляксей да Ольга, погодки, вона возле стога сидят!

Совсем маленькие дети — один сидит, другой и сидеть еще не умеет, на траве возле стога сами себе предоставлены.

Семён довольно улыбается.

— Игнатушка, подь сюда! Барыня тябя, шалопая, помнить изволят!

Мальчишка лет десяти, светловолосый, чумазый, идет к ним навстречу. В добротных, не по погоде теплых штанах, но без рубашки. Олюшка, ему почти